

Александр
Герцен

БЫЛОЕ И ДУМЫ I

МЕМОУАРЫ

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Г41

Герцен, А.

Г41 Былое и думы I / А. Герцен. — М.: Т8RUGRAM. — 192 с.

ISBN 978-5-519-66483-7

Александр Иванович Герцен (1812—1870) — публицист, писатель, философ XIX века, либерал, сторонник революционных преобразований, один из виднейших критиков официальной идеологии и политики Российской империи.

«Былое и думы» — автобиографический роман, над которым автор работал почти шестнадцать лет, был признан мировым шедевром мемуарной литературы. Герцену удалось блестяще изобразить образ русского революционера, а также составить настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы и общественную жизнь России середины XIX века. Эта книга позволит читателю переосмыслить свою жизнь и получить ответы на многие важные вопросы.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FС
BISAC FIC000000

Посвящается Н.П. Огареву

Предисловие

*В этой книге всего больше говорится о двух личностях.
Одной уже нет, — ты еще остался, а потому тебе, друг,
по нраву принадлежит она.*

Искандер.

1 июля 1860

Eagle's Nest Bournemouth

Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере относительно двух первых частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда, но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок — дело не трудное; но все переплавить, *d'un jet*¹, я не берусь.

«Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений, — мне бы не хотелось стереть его.

Это не столько *записки*, сколько *исповедь*, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из *Былого*, там-сям остановленные мысли из *Дум*. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей *единство есть*, по крайней мере, мне так кажется.

Записки эти не первый опыт. Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир, я ужасно

¹ Сразу (*франц.*).

скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей!

В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности»¹. И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом; я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* — каких-нибудь *четырёх* месяцев... Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны... потом прошедшее потонуло в свете настоящего.

В 1840 Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью); остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лет*², «я жил в одном из лондонских захолустьев, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили — и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне

¹ См. «Тюрьма и ссылка».

² Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года.

яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как внешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь».

Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время, — торопиться было некуда.

Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании «Записок одного молодого человека» и как-то случайно попал на них в British Museum¹, перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно: я так ошутительно увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнью и самим счастьем, как будто ему и конца не было. Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог ничего взять из них; они принадлежат молодому времени, они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение нейдет к моему вечернему труду. В них много истинного, но много также и шалости; сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке. На «Былом и думах» видны следы *жизни* и больше никаких следов не видать.

Мой труд двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* была отстоялась в прозрачную думу — неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть *истины!*

Несколько опытов мне не удалось, — я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои

¹ Британском музее (англ.).

последние тетради, я сам *узнал знакомые* черты и остановился... труд мой был кончен!

Очень может быть, что я далеко переоценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много *только для меня одного*; может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться.

Все личное быстро осypается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие; это — седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.

В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец, и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко... иногда слишком широко... Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть *труд*. Труд — наша молитва. Быть может, что *плод того и другого* будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.

Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность *еще* не имела, то *уже* утрачено; о чем

юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева.

...Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет*, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много — три!

Жизнь... жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметен беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около... и нет нам больше дороги на родину... Одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!

Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личной жизнью и будут ее оглавлением. Остальные *думы* — на дело, остальные *силы* — на борьбу.

Таков остался наш союз..
 Опять одни мы в грустный путь пойдем,
 Об истине глася неутомимо, —
 И пусть мечты и люди идут мимо!

